

Алекс Тарн

КНИГА



Алекс Тарн
Книга

«Вимбо»

2007

Тарн А.

Книга / А. Тарн — «Вимбо», 2007

ISBN 978-5-91051-056-6

Главный мотив романа – соотношение слепой Судьбы, которая вертит маленьким человеком, как мощный поток – щепкой. Что правильней: сопротивляться насколько хватит сил или довериться мощи, которая заведомо громадней тебя? Клим, бывший питерский инженер, ищущий себя в стране пророков на берегу Мертвого моря, обнаруживает в пещере кувшин с медным свитком, и эта находка увлекает героев романа в головокружительный круговорот событий. В романе 5 частей, причем четыре из них связаны с современностью, а пятая представляет собой парафраз на тему евангельской истории.

ISBN 978-5-91051-056-6

© Тарн А., 2007

© Вимбо, 2007

Содержание

I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Алекс Тарн Книга

© Алекс Тарн

* * *

I

Сева Баранов не любил писем и телефонных звонков.

Вернее сказать, он давно вышел из того возраста, когда письма и телефонные звонки еще воспринимаются обещанием новых начал, открытий и крупных лотерейных выигрышей – то есть, неиссякаемой пачкой приглашений в настешь распаханное будущее. Человеку обычно требуется лет тридцать, чтобы окончательно уяснить простую истину: по почте жизнь в лучшем случае присылает счета и штрафы за неправильную стоянку, а телефонные звонки чреваты внезапным несчастьем или какой другой крупной неприятностью... что же до будущего, то и оно при ближайшем рассмотрении вовсе не распахивается светлым трубящим раструбом, а, напротив, воронкой сужается в какую-то неопределенную дальнюю черноту.

Гм... неопределенную?... дальнюю?... гм... Так или иначе, в свой почтовый ящик Сева всегда заглядывал с осторожностью и некоторым даже отвращением, как в темный подвальный угол, где вполне может оказаться ядовитый липкозадый паук либо желтый скорпион с угрожающе вздвинутой закорючкой смертоносного хвоста. Если бы можно было вообще не открывать эти конверты и повестки... просто притвориться, что ты не существуешь... например, так:

– Где он, господин Баранов, муж, отец и военнообязанный? Где он, откомандированный программист мистер Барановф, подданный неприятной ближневосточной страны? Где он, бывший советский гражданин Баранов Всеволод Михайлович, лицо известной национальности, 1968-го года рождения, в особых преступлениях пока не замеченный, но все равно крайне подозрительный?

– А нету их. Нету. Ни того, ни другого, ни третьего.

– Ни того, ни другого, ни третьего? Ни господина, ни гражданина, ни откомандированного мистера? А где же они, позвольте спросить?

– А нету! Выбыли в неизвестном направлении.

Вернее, и не было их вовсе. Никогда не было. В общем, не ищите, не надо.

– Ну не надо так не надо. Не будем. Будьте здоровы и прощайте навсегда.

Навсегда. Ах, если бы такое было возможно! Если бы!

Ведь главная пакость почты в том и заключалась, что ее отправители и не думали отпускать на волю свою беззащитную жертву. Оставленное без внимания письмо автоматически влекло за собой целый шлейф новых посланий, угроз, обвинений, штрафов... Кроме того счета и повестки по большей части являлись всего лишь индикаторами уже произошедших неприятностей, так что простое игнорирование все равно не могло повернуть события вспять. А значит, и страусиная политика только усложняла ситуацию. Страусу-то хорошо, у него шея морщинистая. Посмотрят пауки-отправители на такую шею да и подумают: «Ну что с него взять, со старика? У него небось и мясо жесткое, несъедобное. Так уж и быть, пускай живет, пока сам не издохнет...» А у Севы шея гладкая, черт бы побрал ее совсем. Разве человека с такой шеей кто отпустит? Дудки! Пришло письмо – открывай ворота.

Ворота почтовых ящиков помещались в вестибюле.

Каждый раз, вытаскивая почту, Сева спиной чувствовал злорадный взгляд коричневого консьержа-пакистанца, как будто говоривший: «Ну что, получил? Нет? Ничего-ничего, ты свое еще получишь...»

Если же Сева намеренно или случайно пропускал неприятную процедуру, вредный пакистанец не упускал случая напомнить:

– Мистер Баранов давно не проверял почту...

При этом севина фамилия выходила у него многозначительно искаженной – «Бар-Анно.» Мистер Бар-Анно. Сука.

Забрав конверты и поборов неразумное желание вскрыть их тут же, немедленно, в виду враждебного консьержа, Сева торопливо шел к лифту, поднимался на пятый этаж в крохотную квартирку, снятую для него скупердями из фирмы и, стоя у двери, производил первый беглый просмотр. Так, что у нас тут? Реклама... телефонный счет... опять реклама... отчет из банка... ну вот, ничего страшного... слава Богу... Он облегченно вздохнул и принимался жить дальше, до следующего раза.

Впрочем, оставался еще телефон. Телефона в квартире Сева не хотел изначально – зачем, если по двенадцать, а то и по четырнадцать часов в день, включая выходные, к нему можно дозвониться на работу? Кроме того, есть мобильник. Но жена и начальник были неумолимы. Их аргументация звучала на удивление сходно: «Мобильник у тебя ненадежный, вечно в отключке. Как же мы тебя найдем, *если что*?!» Таким образом, любой телефонный звонок в бирмингемскую квартиру, временно занимаемую «мистером Бар-Анно», автоматически означал, что упомянутое «*если что*» действительно произошло.

Конечно, это обстоятельство не добавляло Севе симпатии к и без того нелюбимому аппарату. Впрочем, телефон и сам, чувствуя такое к себе отношение, предпочитал помалкивать – от греха подальше. За два месяца его робкий звонок прозвучал лишь однажды, когда в неурочное время произошел обвал опекаемой Севой программной системы. Один раз – всего ничего, считай, что и не было. Зато жена не звонила вовсе – по причине очередной крупной ссоры, случившейся незадолго до последнего севиного отъезда в Бирмингем. Тем не менее Сева продолжал подозревать телефон в самых нехороших побуждениях и постоянно угрожающе косился в его сторону с явным намерением отключить вовсе. Наверное, поэтому несчастный аппарат молчал, затравленно помаргивая крошечным красным огоньком, так что в конце концов Сева не то чтобы сменил гнев на милость, но все же немного снизил уровень враждебности и даже пару раз снял трубку по собственной инициативе – заказать пиццу с доставкой на дом.

Тем отвратительнее выглядело проявленное аппаратом коварство. Мерзавец специально выбрал момент, когда Баранов уже почти привык к его мнимой безвредности. В тот дождливый январский вечер Сева вернулся с работы, как всегда, поздно и, как всегда, чуть живой; заставил себя просмотреть почту, оказавшуюся сносной, постоял под душем и задремал перед телевизором в обманчивой безопасности квартиры. Вот тут-то, как нож в спину, и вонзился ему в уши проклятый звонок. Первая мысль была: из телевизора? Из какого телевизора, дурак?.. футбольная трансляция... какой телевизор?.. Сева затаил дыхание. В конце концов, может же такое быть, что его нету дома? Нету! Ни господина, ни гражданина, ни мистера...

Телефон, потрепав, замолчал, но по всему его решительному виду было ясно, что речь идет лишь о временном затишье. Так и случилось. Сева мужественно выдержал еще две атаки и сдался только на четвертой. Он осторожно снял трубку и, перед тем как ответить, немного покачал ее на руке, словно собираясь выкинуть за окно, в темноту, на мерзлую английскую морось.

– Аллю.

– Сева! – это была жена. – Что за идиотская привычка не брать трубку? Когда ты уже станешь нормальным человеком?

Он сразу ощутил необычное напряжение в ее голосе.

Как столь высокое напряжение передается по простым телефонным проводам, да еще и на такие большие расстояния?

– Здравствуй, Ленусик, – сказал он развязно, стараясь отвлечься от дурных предчувствий. – Ты не помнишь, сколько вольт в телефонном сигнале?

В прежней жизни Лена закончила институт связи.

Может быть, поэтому она несколько не боялась телефонов? «Сейчас обидится, выругается и бросит трубку, – подумал Сева с надеждой. – Это будет означать, что ничего не случи-

лось, что она звонит просто так. И тогда я тут же отключу телефон. Сразу же, раз и навсегда. Сколько мне тут осталось, в этой поганой командировке? – Меньше месяца...»

Жена хмыкнула, но как-то совсем не агрессивно.

– Ты что, выпил? Или окончательно свихнулся?

Сева промолчал. Она тоже молчала на другом конце провода, видимо, прикидывая, как бы поудобнее протиснуть в узкий телефонный канал негабаритный груз своих дурных новостей. Хочет развод? Или что-то случилось с детьми? Что? Говори уже...

– Ну что ты молчишь? Что там?..

– Полтора вольты.

– Что полтора вольты?

– Телефонный сигнал – полтора вольты... по-моему...

– сказала она и заплакала.

– Что случилось? – тихо произнес Сева, холодея от ужаса. – Мальчишки?

– Нет-нет, – поспешно сказала жена, сморкаясь. – Нет-нет. С мальчишками все в порядке. Клим погиб. Разбился в автокатастрофе. Насмерть. Столкнулся с грузовиком. Теперь тут всякие дурацкие проблемы с похоронами. Мне одной не справиться. Приезжай, если сможешь.

– Как разбился? – глупо спросил он. – Почему?

Жена снова шмыгнула носом.

– Ты там только не очень, ладно, Севочка? Ты только не слишком, ладно? Не сможешь приехать – ничего страшного. Потом попрощаешься, ладно? С ума только не сходи. Я тут как-нибудь...

– Ладно, – перебил ее Сева и, не прощаясь, повесил трубку.

Потом он посмотрел на свою руку, удивляясь тому, что она не дрожит, и тут же еще больше удивился своему собственному удивлению – потому что, с какого, спрашивается, рожна у него должны дрожать руки?.. Что теперь?.. Налить себе стакан виски? Заплакать? Или что там положено делать в таких случаях? – В *каких* случаях? Что ты несешь?.. Он вдруг обнаружил, что странным образом видит себя со стороны, как другого, отдаленно знакомого человека, нерешительного и смущенного, будто застигнутого за чем-то стыдным. Человек постоял потупясь, затем двинулся к холодильнику, помедлил, взявшись за дверцу, недоуменно pokrutil головой, открыл морозилку; тщательно выбирая кубики, набросал три четверти стакана льда, еще немного подумал и отсыпал несколько лишних льдинок – почему-то не в раковину, а в ладонь – и снова потупился, уставившись в лакированный паркет.

– Капает... – сказал ему Сева.

– Что?

– Капаешь на пол, идиот.

– Да-да...

Он кинул кубики в раковину и налил виски доверху, но пить не стал, а поставил стакан на стол и пошел к окну – глядеть на севино отражение в темном, пятнистом от дождя стекле.

– Ты вот виски тут глушишь, а Клим разбился, сволочь, – сказал ему Сева укоризненно.

Но даже в этой ясной, казалось бы, фразе присутствовала все та же промежуточная, колеблющаяся неоднозначность. Например, к кому здесь относилось слово «сволочь»? – К нему, задумавшему пить виски именно сейчас, или к предательски разбившемуся Климу? Сева вернулся к столу, для пробы отхлебнул из стакана и уверенно выбрал второй вариант.

– Сволочь ты, Клим. Как ты мог?

А почему бы и нет? Все когда-нибудь умирают.

Почему Клим должен быть исключением? Почему, почему... да потому, что он всегда был исключением, вот почему... черт... сволочь... хотя с первого взгляда казался заурядным... заурядным до незаурядности. Деревенский парень, каких не бывает в городе, во всяком случае, в таком большом городе, как Питер. Круглое плоское лицо, нос картошкой, манера произно-

силь слова с некоторой растяжкой... – так разговаривает шпана на танцплощадке колхозного клуба. Как он тогда сказал, в самый первый раз, когда они встретились?

– Ну, чего сопли жуετε? Пошли работать... – вот как.

Да-да, именно так... И, услышав это, Сева поспешно встал со ступеньки раскуроченного лестничного марша, а Сережка поднялся вслед за ним и хлопнул по плечу, представляя:

– Знакомься, Клим, это Сева. Я тебе о нем говорил, помнишь? – и тут уже сразу пошли неожиданности: и неожиданно узкая протянутая для рукопожатия ладонь, и неожиданно застенчивая улыбка, и внимательный взгляд исподлобья, цепкий, но приветливый, неопасный, делающий приклатненную манеру разговора забавной пародией, ширмой.

– Здравствуй, Сева. Я – Анатолий. Анатолий Климов.

Ты не тушуйся. Работа у нас интеллигентная, интересная, но чистая. Я тебе буду доходчиво объяснять, по мере возникновения.

Он всегда представлялся как Анатолий, хотя по имени к нему обращались, наверное, только мать и братья, а все остальные, даже жена, звали по фамилии – «Климов» или просто «Клим». А «интеллигентная, но чистая работа» заключалась в уборке строительного мусора. Впрочем, в последнем имела место некоторая нетривиальность. Это был не просто мусор, а потроха старых, идущих на перестройку ленинградских домов в районе Литейного и на Петроградской.

Принцип сохранения городского архитектурного облика предписывал не трогать фасады, а потому порядок работы отличался от обычного, предполагающего применение чугунной бабы, а то и динамита. Здесь же прежде всего разбиралась крыша, а затем сверху, при помощи башенного крана, этаж за этажом, извлекалось все, что находилось в «колодцах» между капитальными стенами: кирпичные и дощатые перегородки, потолки, полы, перекрытия, старые кухонные плиты, круглые голландские печки, вонючие канализационные стояки, витая проводка на белых фаянсовых изоляторах и прогнившие водопроводные трубы, заросшие лохмотой волосней пакли. Все это сбрасывалось в одну кучу во внутренний двор и впоследствии вывозилось на свалку – и так до тех пор, пока полностью, до подвала вычищенные «колодцы» не оказывались готовыми принять новое, современное, качественное наполнение.

Любой уважающий себя строительный рабочий чурался грязного и неквалифицированного этапа «разборки». Ко всему прочему, этот этап был еще и очень травмоопасен, а потому настолько обложен запретами техники безопасности, что официальная работа «по правилам» становилась практически невозможной. Неудивительно, что строительное начальство ненавидело «разборку» лютой ненавистью. В эту-то благодатную нишу и ввинчивались шарашкины бригады типа климовой. Плата наличными, работа по вечерам, пока крановщик не взвоят.

Начинали в шесть; кран работал до десяти, в случае особого расположения машиниста – до полуночи. Расположение крановщика с легкостью достигалось при помощи бутылки. С крановщицами было сложнее: разбитные лимитчицы хотели от жизни большего, и тогда в дополнение к бутылке Клим посылал на переговоры Сережку – великого специалиста по женской части. Сережка неохотно отставлял лом и лез на кран налаживать отношения. В отличие от остальных, он работал у Клим не от нужды в деньгах.

– Какие тут деньги? – пренебрежительно говорил он Севе, которого сам же туда и приташил. – Горбатишься весь в дерьме, как папа Карло на каторге... Да в любом кооперативном ларьке можно за час больше заработать, чем у Клим за неделю!

– Что ж ты ходишь?

В ответ на этот резонный вопрос сережкины глаза заволакивало туманом, он смутно улыбался и качал головой:

– Вы еще узнаете, дурачье... посмотрим, кто тогда посмеется...

Сережка мечтал о кладе. Перед разборкой каждого дома он проделывал нешуточную исследовательскую работу, бегал по жилищным конторам, сидел в Публичке, выписывал мел-

ким почерком фамилии и род занятий прежних жильцов и хозяев. В раздевалке долго всматривался в самодельный план и что-то высчитывал, озабоченно чиркая карандашом.

– Ну что, Сережа? – солидно спрашивал Клим, застегивая ремешок каски и скашивая на сторону глаза, чтобы спрятать пляшущий в них веселый огонек. – Кого сегодня берем? Банкира али фабриканта?

– Смейтесь, смейтесь... – отвечал Сережка, не поднимая головы от плана. – Ни с кем не поделюсь. Все себе возьму, до последнего червонца.

Отчего-то исполнение мечты представало его мысленному взору исключительно в виде тяжелых монет царской чеканки, золотым ливнем, как Зевс на Даная, льющихся на восхищенного Сережку из тайника в развороченном дымоходе. Поэтому разборку всех печей и каминов он брал на себя, не встречая при этом ничьих возражений, ибо возиться с тяжелыми, покрытыми слоем жирной сажи кирпичами не улыбалось решительно никому. Вздывая тучи пепла, старые «голландки» рушились под напором сережкиного лома; черные хлопья сажи, как бабочки, порхали в густом облаке удушливой глиняной пыли, шрапнельной дробью осыпалась сухая штукатурка, и лучи мощных прожекторов, растерянно упираясь в эту клубящуюся смесь угольного забоя, каменоломни и нижнего круга ада, тщетно пытались нащупать в ее глубине яростную фигуру кладоискателя.

– Сережа! – зывал Клим с балки верхнего перекрытия. – Ты жив?

И удовлетворенно кивал, когда из облака сквозь кашель и плевки раздавалось знакомое, хотя и едва различимое «смейтесь, смейтесь...», а затем проявлялся и сам Сережка, недальновидно пытающийся стряхнуть пыль с перемазанного сажей лица, что, естественно, только усугубляло комичную inferнальность его облика.

– Ну? Что я говорил? – он торжествующе вздымал в воздух покоренную чугунную выюшку. – Посмотрите, какая вещь! Разве теперь такие делают?

– А, ну я понял, молодец! – абсолютно буднично, без тени иронии отзывался Клим, прилаживая стропу к балке. – Иди-ка покамест на лестницу, отдохни, а мы вот тут деревяшку дернем... Эй!.. Вира помалу! Еще! Давай-давай-давай...

Балка с треском выпрастывалась из своего разоренного гнезда и, направляемая уверенными руками Клина, неторопливо ползла вверх, во влажную черноту осеннего питерского неба.

Нужно сказать, что сережкино сумасшествие не воспринималось в климовой бригаде как нечто из ряда вон выходящее – может быть, потому, что и остальные «работнички» тоже были, что называется, не без тараканов. Где только Клим таких находил? Хотя нет, не так – это они сами находили Клина и потом уже надолго оставались в сильном поле его притяжения. Клим брал всех без исключения и платил поровну, забирая себе общую равную долю, невзирая на свое бригадирство. Работал же он за двоих благодаря удивительной ловкости. Физическая сила у него была не особенно великой, но какой-то очень умной: он всегда точно знал, как и где встать, чем и на что нажать, за что ухватиться, куда потом сделать шаг, и оттого любое действие у него выходило эффективным на загляденье. Клим был поразительно гармоничен – во всяком случае, на первый взгляд. Вероятно, поэтому к нему так тянулись расщепленные души: безумный кладоискатель Сережка, тихий алкоголик Струков, беззлобный гигант Паша-Шварценеггер, злобный карлик Витенька... ну и, конечно, сам Сева.

Сева далеко не сразу признал себя ненормальным. В конце концов, он пришел в бригаду заработать денег, а вовсе не из-за Клина. Только к концу первой зимы, после полусотни выходов на работу, он осознал истинное положение вещей. Прозрение настигло его в раздевалке, если так можно было назвать крошечный закуток под лестницей с двумя шаткими скамейками и, само собой, даже без водопроводного крана. Привалившись к стене и расслабив гудящее тело, Сева сквозь полуприкрытые веки наблюдал за своими товарищами, привычно думая о том, какие же они все психи, как вдруг Струков сказал, совершенно ни с того ни с сего:

– Вот смотрю я на тебя, Сявка... ну и псих же ты! – он упорно именовал Севу «Сявкой», и Сева не возражал, понимая, что речь идет об одном из немногих доступных Струкову способов самоутверждения.

– П-псих? П-п-почему? – ошарашенно спросил Сева, заикаясь от неожиданности.

– Почему? – осклабился Струков и повернулся к остальным, призывая их в свидетели. – Слышите, бичи? Он еще спрашивает, почему!

Сева обвел взглядом ребят и вдруг понял, что они на сто процентов согласны со Струковым! Сережка улыбался, не отрываясь от плана «острова сокровищ», Шварценеггер дебильно покачивал головой, и даже Клим, сразу уловив севину растерянность, смотрел несколько виновато.

– Струков, оставь человека в покое, – устало сказал бригадир. – На себя глянь. Я тебе говорил здесь не квасить? Говорил?

– Так я ж не во время работы, Клим... Я вот только сейчас глотнул, истинный крест! У меня вот с собой... кто-нибудь хочет?

Тема переключилась на струковский алкоголизм, но Сева не участвовал в общем полушутейном обсуждении, пораженный сделанным открытием: он тут, пожалуй, самый ненормальный из всех. Ненормальный именно своей нормальностью, потому что нормальность эта нормальна для внешнего, обычного мира – там, за забором, а здесь, в мире психов, она является ни больше ни меньше, как вопиющим отклонением от нормы. Что ты тут делаешь, парень? Эй, очнись!

Клим подошел, присел рядом на скамейку, раскрыл блокнот, глянул исподлобья быстрым внимательным взглядом.

– Так, Всеволод. Когда ты у нас в следующий раз выходишь? В четверг? Ну и ладно, я понял... – встал, потянулся и продолжил уже отходя, как бы невзначай: – Да не переживай ты так. Все мы психи, и ничего, живем. Правда, граждане халтурщики?

– Тут соседний колодец особенно интересный, -невыпад отвечал Сережка. – На третьем этаже в крайней комнатухе до войны старушенция проживала. Уплотненная княгиня. Ох, чует мое сердце...

– Замочил твою старушку красный матрос Раскольников, – захихикал Струков. – Топором замочил. И ейную домработницу графиню Лизавету тоже кокнул. И все червонцы забрал.

– А у меня бабку Лизаветой звали, – радостно сообщил Паша-Шварценеггер.

Паша служил охранником в той же режимной конторе, где сам Клим подвизался инженером. Клим так и говорил – «подвизался»:

– Я подвизаюсь в такой-то и такой-то конторе инженером-механиком.

– В смысле – работаешь? – уточняли озадаченные собеседники.

– Нет, – качал головой Клим. – Работаю я на стройке.

А в конторе я подвизаюсь.

Паша точного значения слова «подвизаться» не знал, но предполагал, что уж если Клим что-то подвязывает, то это «что-то» должно быть чрезвычайно важным – ну, например, бомбы к самолетам. Клим он уважал безмерно, хотя наверняка не смог бы даже примерно сформулировать – за что. Сам Паша, как уже было сказано, служил. Его жизнь четко подразделялась на две неравные части: до службы – в нищем и пьяном колхозе под Новгородом – и во время службы – то есть с момента ухода в армию и по сей день.

Первая часть представляла в его памяти бессвязным набором цветных расплывчатых картин: речка, картофель на столе, печка с полатами, луг за школьным окошком, индийское кино в колхозном клубе, танцплощадка в райцентре и пьянка, пьянка, пьянка. Вторая характеризовалась предельной ясностью и четким порядком исполнения приказов. Ее преимущество перед первой заключалось еще и в том, что всегда было что носить и чем питаться. Поэтому, когда после двух безупречных лет во внутренних войсках Паше предложили переквалифици-

роваться во вневедомственную охрану, он воспринял это даже не как предложение, а как естественное продолжение службы.

Увы, естественность перехода соответствовала действительности только частично: оказалось, что внеармейская жизнь требовала чересчур много самостоятельных решений. Большой город пугал Пашу, он не улавливал смысла его суеты, путался в паутине его улиц, не понимал его странного жаргона, терялся в разговорах с городскими, у которых никогда не хватало времени не только на то, чтобы выслушать ответ, но даже и на то, чтобы толком закончить вопрос. Разве что Клим... с ним всегда можно было поговорить о чем угодно. Нет, разговорчивостью Паша не отличался: за всю жизнь он ни разу не связал больше трех предложений, да и то коротких. Возможно, именно поэтому потенциальная возможность разговора сама по себе представляла для него немалую ценность.

С Климом Паша познакомился случайно, когда остановился закурить, выйдя из проходной после смены. До этого Клим был для него никем, одной из неразличимых частиц текущего через турникет серого людского потока. В тот день моросило; Паша глянул на небо, примериваясь, стоит ли выходить на дождь или докурить уже сигарету здесь, под козырьком, и тут кто-то сказал сбоку:

– Надоело уже... все дождь и дождь...

Паша повернулся к говорившему, еще не веря, что слова адресованы ему. Возможно, они были сказаны просто так, в пространство? Но стоявший рядом ладный круглолицый парень явно посматривал на него – именно не смотрел прямым смущающим взглядом, а посматривал исподлобья, безопасно: глянет и отведет, глянет – и отведет. Паша растерянно крикнул, прикидывая, стоит ли думать над ответом, которого все равно не дождутся. Но парень терпеливо ждал, по-прежнему коротко поглядывая и отводя.

– Хм, – сказал Паша наконец, испытывая незнакомое чувство участия в оживленной беседе. – Гм.

В голове у него шевельнулась картина голубого деревенского неба, но перевести ее в слова не представлялось никакой возможности.

– А где-то сейчас небось солнышко и небо голубое...

– сказал парень и протянул Паше узкую ладонь. – Я – Анатолий. Анатолий Климов.

– Шварценеггер, – ошеломленно ответил Паша, бережно принимая климову кисть в свою немерзную лапу. Этот странный Анатолий не только выслушал его до конца, но и произнес сейчас именно ту фразу, которую Паша хотел, но не смог сформулировать. Уже за одно это он заслуживал того, чтобы идти за ним на край света.

– Шварценеггер? – повторил Клим, и в его исподлобном погляде промелькнул быстрый, необходимый смешок, тут же, впрочем, пропавший. – А, ну да, я понял.

«Шварценеггером» Пашу прозвали еще в колхозе – за двухметровый рост и широченные плечи.

На разборке домов Паша работал не столько за деньги – много денег ему, бессемейному, не требовалось, – сколько для того, чтобы побыть рядом с Климом. Но существовала и другая причина: Питер. Интуитивно Пашу тянуло зайти, что называется, с другого бока, познакомиться с этим чуждым, неприятным и враждебным существом с другой, изнаночной стороны. Так пробираются во враждебную незнакомую деревню – с лесной опушки, через заброшенные огороды и ветхое полуразвалившееся гумно. Паша погружался во внутренности старых петербургских домов со странным опасливым любопытством; он трогал ломом перегородку, как пробуют палкой куст, неожиданно зашуршавший прямо под ногами предупреждающим змеиным шипением – бес его знает, что прячется там, в глубине...

Но город не раскрывался ему даже здесь, с изнанки. А может быть, такова и была настоящая питерская изнанка: отчужденная холодная замкнутость во всем, даже в самых глубинных жилках, где уж точно должна была бы струиться живая веселая кровь. Покинутые совсем

недавно квартиры не хранили никаких следов людского тепла; даже закаменевшие окурки в углу казались обломками штукатурки и меньше всего напоминали о человеческих губах, когда-то сжимавших их мягким и влажным объятием; даже отметки детского роста на дверных косяках стыдливо прикидывались обычными царапинами; отсюда сбежали даже крысы и тараканы – неперенные спутники питерского жилья... Этот город напоминал мрачное северное болото, немедленно затягивающее прежней равнодушной ряской не только след человеческой ноги, но и самую память о нем. «Надо же...» – удивлялся Паша, недоверчиво рассматривая отпечаток своего лома и почти ожидая, что он исчезнет, испарится прямо сейчас, у него на глазах.

– Ну что ты на нее уставился, Шварценеггер долбаный?.. Дай! – нетерпеливо кричал сзади Витенька, отталкивал Пашу яростным плечом и с маху врубался кувалдой в обреченную перегородку. – Вот ее как надо! Вот как! Вот! На! Получи!

Витеньку держала у Клима неуголимая, злобная жажда разрушения. Он явно испытывал физическое наслаждение, обрушив еще крепкий дверной блок или наблюдая, как удачно подцепленная перегородка, треща выдираемыми гвоздями и вздымая фонтаны алебастровой пыли, сдвигалась с места, где простояла последние сто – сто пятьдесят лет, и с грохотом рушилась на пол, седой от предчувствия собственного конца. Вообще говоря, эти чувства вполне соответствовали характеру работы, то есть Витеньку можно было считать самым нормальным в климовой психбригаде. Тем не менее, никто его не любил, и даже Клим нет-нет да и поглядывал в сторону Витеньки с откровенным неодобрением. Поглядывал, но не гнал, как не гнал никого. Из бригады уходили только по собственному желанию.

В первый день работы Клим подвел Севу к большой куче битого кирпича и штукатурки, дал в руки лопату и указал на стоящую рядом пустую двухкубометровую клеть:

– Значит, так... задача формулируется следующим образом: вот это... вот этим... вот сюда. Вопросы есть?

Вопросов не было. Но и задача оказалась не из простых. Никогда еще Сева не представлял себе, насколько трудно подцепить на обычную совковую лопату обычный строительный мусор. Как он ни тыкался в проклятую кучу, лопата постоянно упиралась то в обломок доски, то в кирпич, то в комок гипса. За полчаса отчаянной борьбы, набив на руках мозоли, он едва забросал дно клетки.

– Как дела? – спросил подошедший Клим.

– Вот... – жалобно сказал Сева, распрямляясь. – Никак не взять...

– Я понял, – просто ответил бригадир, не выказывая никаких чувств. – Ну-ка, дай лопатку...

Он обошел кучу, присматриваясь к ней, как медвежатник присматривается к сейфу, а затем шваркнул откуда-то снизу и сразу без всякого усилия набрал полный совок. Удивленный Сева подошел – в этом месте сохранился кусок паркета, и, понятное дело, по гладкому набирать было легко.

– Дело нехитрое, – сказал Клим и вернул лопату. – Комай только там, где копается. А как упрешься рогом – не дави, ищи новый подход. Попробуй.

Сева шваркнул лопатой по паркету – шло как по маслу.

– Ну как? – индифферентно поинтересовался Клим.

– Да-а... – протянул Сева и уже начал прикидывать, что бы такое сказать, благодарное и в то же время умное, но Клим перебил его своим обычным равнодушным «я понял» и отошел. На дальнейшее заполнение клетки Баранову потребовалось сорок минут. Сорок легких минут. Через месяц он делал это за четверть часа. Забавно, что из всех уроков, когда-либо полученных Севой в классах, на кухнях, в компаниях и подворотнях – короче, на обычных университетских кафедрах жизни, – этот вспоминался потом чаще всего. Великое, незаменимое умение копать.

Уже одного этого с лихвой хватало на то, чтобы до самой смерти полагать себя неоплатным климовым должником.

Они быстро сдружились – насколько вообще возможно было сдружиться с Климом. Под тонким слоем его ровной немногословной доброжелательности довольно быстро обнаруживалась непреодолимая стена, растущая вверх до неба и вкопанная в землю на немереную глубину – ни перепрыгнуть, ни подкопаться, ни заглянуть в наглухо задраенные бойницы. И все же, все же... нет-нет, да и высовывалась из-за стены тамошняя заповедная страна: краешком, быстрым взглядом исподлобья, еле заметным понимающим кивком, усмешкой, невольно вырвавшимся, никому не адресованным словом.

– Что, Клим? Ты что-то сказал?

– Да нет, ничего. Ничего.

Кое-что по секрету и по пьяне рассказал Струков, оказавшийся климовым родственником – не то шурином, не то деверем, не то кем-то там еще, не важно. Конечно, не за так рассказал, а под бормотуху, щедро подливаемую Севой из-под стола в грязной, дышащей мокрым перегарным паром пельменной на Петроградской.

– Он у нас, Сявка, один такой правильный, типа того...

– говорил Струков и, налегая грудью на стол, наклонялся для пушей доверительности поближе к свиному лицу. – Вот так культурно посидеть, как мы с тобой сейчас... так это ты что-о-о... это никогда... ты что-о-о... Если, к примеру взять, вся семья сидит. Ну там, именины если... или, там, поминки... когда все культурно... Мать ихняя на него не намолится, а так – никто не любит... ты что... Не по-человечески это, Сявка, не по-русски. Вон даже ты, еврейской национальности, а и то, культурно если. А Клим – нет, никогда. Холодный он, ты что... Мать его любит ихняя, врать не стану, но мать-то всякого полюбит. На то она и мать, Сявка... ты что...

По Струкову выходило, что Клим был в своей большой семье даже не белой вороной, а прямо каким-то вовсе уж невиданным инопланетным журавлем диковинной раскраски. И дело не в том, что он, единственный из шести братьев и сестер, окончил институт: велико ли счастье жить на нищенскую инженерную зарплату, когда даже брат, портовый грузчик, получал вдвое, не считая халтуры? И даже не в том, что Клим попусту выпендривался, демонстративно читая непонятные книжки вместо того, чтобы смотреть и вместе со всеми обсуждать понятный телевизор. Главная климова червоточина заключалась в том, что он не умел «культурно посидеть», а говоря попросту, не пил, что было особенно заметно на общем принципиально не просыхающем фоне.

Климов отец давно уже лежал в земле, поражая проспиртованностью тканей даже самых отъявленных червей-токсикоманов; старшие братья и прочие родственники усердно следовали той же дорогой – таков был общий семейный удел, прочная родовая традиция, которая не подлежала обсуждению и уж тем более уклонению. Такое не прощалось.

– Брезгает он нами, Сявка... – горячечно шептал Струков, стуча по столу кривым пальцем с обломанным ногтем. – Брезгает! Я, мол, чистенький, а вы все – сволочь пьяная.

– Да как ты можешь так говорить? – удивился Сева. – Я ж помню, он на прошлой неделе тебе с ремонтом помогал. А брату своему... – как его?... Мише?... – бревна на дачу кто возил?

– Тьфу ты! – Струков с досадой сплюнул на пол, безнадежно махнул рукой: поди, мол, объясни дураку нерусскому очевидную вещь. – Ну при чем тут бревна? Ну при чем тут ремонт? Ты сам подумай, голова садовая: ну кому же все это делать, как не ему? Ну? Если уж он больше ни на что другое не годен?

Клим, похоже, действительно играл в семье роль постоянной палочки-выручалочки, что принималось как нечто само собой разумеющееся, с некоторым даже презрением: все равно, мол, этот хрен свободен, баклуши бьет, в то время как остальной народ, добросовестно нажравшись, храпит в канаве или, припав к унитазу, исходит честной трудовой блевотиной.

– Слышь, Струков, а он что, не женат? Как у него время на все находится? – осторожно спросил Сева.

– Да как же не находится-то! – всплеснул руками Струков. – Я ж тебе толкую: не пьет он. Не пьет! Передаю по буквам: Эн... еее... пыпыпы...

– Так не женат, что ли?

– Женат, как не женат. На такой же дуре... там еще осталось у нас? Вроде как, на пол-стакана еще будет...

Со своей будущей женой Клим, по словам Струкова, познакомился еще в институте, быстро женился и сразу ушел к ней жить.

– В приймаки... – презрительно добавил Струков и снова сплюнул. – Я ему говорил: не в свои сани не садись... да куда там... он ведь всех умнее...

– Постыдились бы, – укоризненно, но беззлобно сказала полупьяная краснорукая уборщица. – Плюются, как верблюды. Выпиваете – так культурно.

Струков примирительно поднял обе руки, признавая ошибку.

– Виноват, мать. Извини... – он снова повернулся к Севе. – Там папаша не то доцент, не то профессор. Интеллигенты сраные. Брезгуют... ты что... Сгоняй-ка еще за одной, Всеволод. Тут рядом на Большом дают, видел очередь?

Бутылка и в самом деле кончилась. Севу уже слегка подташнивало – то ли от гадкой бормотухи, то ли от серой пельменной слякоти в тарелках, по виду почти неотличимой от слякоти на полу, то ли от самого процесса «культурного сидения» с крайне несимпатичным собеседником. Он кое-как отговорился и побыстрее ушел, провожаемый неприязненным струковским взглядом, в котором отчетливо читалось однозначное, поколениями выношенное мнение и о самом Севе в частности, и обо всей его скользкой нации в целом.

После этого разговора Сева долго ощущал нехороший осадок, будто поймал самого себя на подглядывании в замочную скважину коммунального туалета. Зачем было торопить события, нажимать на них силой, как тогда – на лопату? Подожди немного, зайди с другой стороны... – оно само и придет. А не придет, значит, и не судьба. В конце концов – на черта он ему так сдался, этот Клим? Любопытно? – От любопытства кошки с крыши падают... тьфу-тьфу-тьфу... возможностей упасть с крыши у Севы теперь было предостаточно.

В феврале начали разбирать старый дом на улице Желябова. Клим позвонил Севе и предупредил:

– Может получится пустышка, зряшный выход.

Крановщица не придет, замок не откроется, или еще что. Новая разборка – новая неразбериха. Так что всех тащить не стоит, выходим вдвоем, на всякий случай. Ты не против?

– Высокая честь, – сказал Сева как бы в шутку. – Когда и куда?

– Какая там честь... – буркнул Клим. – Нет работы – нет оплаты, только зря проедешь. Деньги за метро не верну.

– И не надо, – весело парировал Сева. – У меня проездной.

Замок в каптерке открылся с первого тыка, зато крановщицы и в самом деле не было. Клим вышел позвонить из автомата, вернулся мрачный.

– Придется подождать с полчаса. Давай пока крышу осмотрим, чтобы времени не терять. Вот же... – он матерно выругался, чего не делал на севиной памяти никогда, но тут же заметил изумление напарника и виновато добавил: – Извини, Сева. Я сегодня в растрепанных чувствах.

Клим так и сказал – «чувствах», тем самым заведомо принижая значение происходящего с ним, переводя свои неприятности в обыденную плоскость повседневных и оттого несерьезных мелочей. Они поднялись наверх, в пыльное пространство стропил, укосин и распорок. Там было темно, пусто и пахло обреченностью – настолько остро, что не осталось даже крыс и голубей.

– Хрена, – сказал Клим, посветив фонариком. – Все равно без прожекторов делать нечего. Вот же...

Часть кровли оказалась разобрана – видать, кто-то уже успел пристроить жесть на сторону. Город сверху выглядел меньше и оттого беззащитнее, как из кабины бомбардировщика. Совсем рядом торчали стеклянный колпак Дома книги и угловатая призма Думской башенки; по другую сторону блистала игла Адмиралтейства, ярким озерцом мерцала подсветка Дворцовой площади, и Александрийский ангел с крестом покачивался в зыбком февральском мареве прямо на уровне севиных глаз, грозя ему и небу распальцованной пятерней, как бык на рынке.

– Красиво, а? – Клим уселся на самый край карниза и свесил ноги в шестиэтажную пустоту. – Садись, Всеволод. Подождем до семи, коли уж пришли. Авось подъедет наша вира-майна, если еще не совсем пьяная.

– Как тебе не страшно? – удивился Сева, пристраиваясь на балке в полуметре от края. – Сел бы ты подальше, Клим, ей-богу. Кирпич тут ветхий, еще поедет...

Клим кивнул и коротко хохотнул.

– Вот-вот. И никаких проблем. Кирпич поедет, и... -он качнулся туда-сюда, словно проверяя стенку на прочность.

Сева услышал легкий хруст и скорее почувствовал, чем увидел, как зазмеилась трещина, как стронулся с места и пополз в пропасть здоровенный кусок карниза. А Клим, Клим, обычно столь ловкий и быстрый в реакциях, просто сидел не шевелясь будто окаменев, будто превратившись в статую, похожую на те, что светились в небольшом отдалении на крыше Зимнего дворца.

– Клим! – заорал Сева, подброшенный словно пружиной. – Клим!

Он успел в самую последнюю долю секунды, вцепился мертвой хваткой в крепкий ворот климовой телогрейки, рванул на себя, упираясь ногой в несущую балку перекрытия, и – вытащил, выхватил из мягкой охапки смерти, которая уже улыбалась им снизу из темного омута двора. Они громко приземлились спинами на ржавый кровельный лист, и этот скрежещущий шум тут же пропал в оглушительном грохоте рухнувшего карниза, и какое-то время они просто лежали так, тяжело дыша и слушая, как раскатывается по кварталу дробное кирпичное эхо. Севу била крупная дрожь – от внезапно нахлынувшей радости.

– Ни фига себе звездануло... – сказал он, просто чтобы что-то сказать, и поперхнулся, поразившись неожиданной пискливости собственного голоса.

Клим молчал. Приподнявшись на локте, Сева посмотрел на его лицо – там застыла все та же странная усмешка, кривоватый след того короткого хохотка, который предшествовал едва не случившемуся несчастному случаю. Несчастному случаю? Или чему-то другому? Неужели причина этого безразличия кроется в преднамеренности? Севина радость разом испарилась, уступив место раздражению.

– Клим? – он дернул бригадира за рукав. – Клим?! Ты что, сдурел?

– Я понял... – ровно ответил Клим, переводя взгляд на Севу. – Больше не повторится. Извини, Севушка. О тебе-то я не подумал. Эгоизм – это плохо в любом случае. Понимаешь, как-то все неожиданно повернулось. Ты же и подсказал: «Кирпич поедет, и...» Ну а дальше уже я сам, кретин сумасшедший. Извини.

– Ты что, сдурел? – повторил Сева. – Почему?

– Почему, почему... – буркнул Клим, вставая на ноги.

– Какая разница? Не бери в голову. Почему, почему... крановщица не пришла – вот почему.

Он сделал несколько шагов, оглянулся на Севу и, вернувшись, снова присел рядом. Это выглядело как признание того неоспоримого факта, что ситуация требует объяснений совсем другого рода. В конце концов, этот пацан только что спас его от смерти...

– Ну что ты на меня смотришь, будто впервые увидел?

Неприятности у человека, понимаешь? Жена уходит, и вообще... Тупик, парень... – Клим махнул рукой. – Струкова видел, родственничка моего? Вот и я с той же ветки. Нас там, таких стручков злобных, миллионами развешано. И в каждом стручке – семечки, семечки, семечки...

– Чушь, – твердо сказал Сева. – Ты от Струкова как от Пси-альфа-центавра. Ты... а, черт...

Он замолчал, не в силах найти точные слова и понимая, что стоит хоть немного сфальшивить, и тотчас захлопнется слегка приоткрывшаяся дверь, теперь уже навсегда. Перед ним на фоне вечернего города бледнело круглое лицо бригадира, и близкий адмиралтейский шпиль, казалось, рос из его макушки, превращая Клима в диковинного единорога.

– Валя, жена моя ненаглядная, зовет меня знаешь как?

– Клим покосился на Севу и усмехнулся. – Колобок. Ты, говорит, от своих жлобов-алкоголиков ушел, да никуда так и не пришел. Катишься по тропинке, нигде особо не задерживаясь... Мне, говорит, такой муж ни к чему. И ведь права она, Сева. Где он, конец, у моей тропинки? Когда до лисы докачусь?

Внизу коротким всплеском взвыла сирена скорой помощи, метнулись по стенам красно-белые зайцы, и тут же снова унялось ворочающееся под ногами болото, густое варево, составленное из виснувшей в воздухе туберкулезной мокроты зимнего петербургского вечера, болезненной желтизны фонарей, слякотного чавканья шагов, насморочного дыхания людей и машин.

– Вот посмотри, к примеру, на наших ухарей, – произнес Клим задумчиво. – Каждый уже более-менее определился, лежит в своей лунке. У Сережки душа кладами занята, у Витеньки – ненавистью... тоже, если вдуматься, наполнение неплохое. Струков квасит до победного конца, Паша служит... и только я – ни то ни се, ни пришей ни пристегни...

– А я?

– А ты... Ты тоже не отсюда, Севушка, – усмехнулся Клим. – Только тебе это еще не вполне ясно.

– Не отсюда? – недоуменно переспросил Сева. – Ты тоже думаешь, что я не подхожу для этой работы? Но почему?

Клим засмеялся.

– Если бы только для этой работы... Ты, парень, не подходишь для всего этого... – широким жестом он охватил все окружающее их промозглое, сочащееся изморосью пространство. – Для Струкова, для Паши-Шварценеггера, для города, для страны... может, даже для планеты.

В четверть восьмого стало ясно, что крановщица уже не придет, и они отправились по домам, накрепко, на всю оставшуюся жизнь связанные случившимся. Не каждому выпадает спасти человека от неминуемой смерти, даже человека случайного, незнакомого – что уж говорить о близком. Но, если такое происходит, то оба – и спаситель, и спасенный – живут дальше в сознании неразмыкаемой принадлежности друг другу.

Они как бы знают один про другого: «Ты теперь мой...»

Мой раб, мой хозяин, мой заново-рожденный, мой заново-родитель – мой, мой, мой... Они надежно скованы цепями собственности, причем собственности не простой, а отличающейся особой, беспрецедентной нерушимостью: например, дом можно продать, машины – лишиться, кошелек – потерять; отец может обернуться отчимом, мать – приемной, любовь – фальшивой, друг – предателем. В неверной зыбкости мира так мало незыблемых утесов, на которые можно было бы с полной уверенностью поставить ногу, так мало крепких сучьев, за которые можно было бы ухватиться, так мало пещер, где можно было бы укрыться и при этом точно знать, что скала не треснет, что сук не обломится, что свод не рухнет, хороня под собой человека вместе с его наивными надеждами. Так мало вещей и связей, которые можно было бы назвать своими и ни на секунду не усомниться, что таковыми они и останутся – навсегда,

при любых условиях. Ну разве что материнство – неразрываемая связь самки и ее детеныша... и еще эта – спасителя и спасенного.

Сначала Сева не осознавал этого. Он вообще мало что понял из сказанного тогда Климом. Чушь какая-то: колобок, лиса, лунки для Струкова и Сережки... А уж его собственная, севина «неподходящесть» для родного города, страны и планеты Земля прозвучала и вовсе фантастически, если не обидно. Все это настолько не вязалось с совершенным в своей цельности образом Климата, что уже на следующее утро показалось дурным сном, заслуживающим только одного -немедленного забвения.

И тем не менее, тем не менее... уже не было для них возврата к позавчерашнему раздельному существованию по разные стороны Великой Климовой Стены. Уже и самой стеной-то как не бывало – хотя прочие окружающие люди продолжали по-прежнему утыкаться в ее непроницаемую твердь. И неудивительно: новая, внезапно открывшаяся Севе картина климова бытия поражала своей неустроенностью и незащищенностью. Пускаться сюда, на обнаженную пашню души, можно было только совсем уже своих... например, мать... или нечаянного спасителя. Климов чуткий, смятенный, счастливый и несчастный внутренний мир пребывал в постоянном изменении, поиске, движении, и эта бесконечная сумятица выглядела тем более странной, что конечная ее цель формулировалась самым простым и внятным образом: Клим хотел жить *правильно*, только и всего. Казалось бы, такая малость!

Сева даже не поверил, рассмеялся, когда услышал об этом, но Клим ничуть не обиделся, принял этот смех за должное, за саму собой разумеющуюся, обычную реакцию обычного человека, привыкшего для легкости жизни считать сложные вещи простыми, а простые – сложными. Эта обычная реакция подразумевала истинность всем известных договоренностей, таких как «слова – словами, а дело – делом» или «богу – богово, а кесарю – кесарево», или «надо твердо стоять на земле, а не витать в облаках», или «лучше быть умным, чем правым» и так далее – еще много всякого такого и подобного ему.

Все мы рождаемся на свет, вооруженные простой и ясной логикой, снабженные однозначными соответствиями слов – предметам и правил – действиям. Если сказано «нельзя» – значит, остановись, не делай. Если сказано «черный», то это именно черный, а не какой-нибудь другой. Но эта простота с первых же младенческих шагов обрастает оговорками и условностями, причем этих условностей с годами становится все больше и больше, так что любое правило и определение может с легкостью обернуться своей полной противоположностью. Сначала взрослые еще немного смущаются, когда ребенок с недоумением спрашивает, отчего это вдруг «черное» стало именоваться «белым».

– Видишь ли, деточка, – объясняет умудренный папа.

– Жизнь существенно сложнее. В ней много оттенков. Конечно, ты прав, вообще-то этот предмет черен. Но, с другой стороны, он как бы... это... ну... короче, потом сам поймешь.

Предполагается, что выразить словами эту внезапную неоднозначность невозможно, что ее понимание может прийти только с так называемым «жизненным опытом», посредством общения со сверстниками, воспитателями, учителями. Поэтому со временем смущение взрослых перерастает в недовольство:

– Ты ведь уже большой, должен сам соображать!

– Соображать что? – В каких ситуациях черное становится белым? Но оно ведь не становится...

– Тьфу ты... А ну немедленно прекрати придуриваться и не притворяйся, будто не понимаешь! Это ведь элементарные вещи!

Так на месте изначально простого, предельно ясного здания жизни вырастает нелепый приземистый монстр, изобилующий лабиринтами, затхлыми подвалами, многоугольными комнатками, темными коридорами, тупиками и лестницами в никуда. Жить в нем опасно: того и гляди, лопнет стена, обрушится потолок, хрястнет под ногой гнилая ступенька. Жить в нем

противно: крошечные крошечные окна не пропускают света, воздух отравлен канализационными миазмами и повсюду шныряют крысы. Жить в нем недальновидно: слышите, как трещат подпорки, как лопаются уродливые заплатки? И тем не менее все живут именно в нем, объясняя это тем, что больше жить негде.

– Как же «негде», люди?! Вы что, сдурели? А вон то, красивое, правильное, с раннего детства знакомое и отставленное? Вон же оно, совсем рядом – сияет чисто вымытыми окнами...

– Ах, это... так это ведь не работает...

– Да с чего вы взяли?

– Ну как... все знают. Кончай придуливаться, элементарные ведь вещи...

Элементарные... за пару десятилетий ежедневного бития по голове и не такое покажется элементарным. Впрочем, время от времени попадаете особо крепкая голова – например, как у него, Клима.

Таковыми или примерно такими словами в несколько мучительных для обоих подходов обрисовал Клима свою нешуточную проблему. В то время ему исполнилось двадцать семь, он был на шесть лет старше Севы – пропасть для такого возраста, – и тем не менее, слушая его, тот постоянно напоминал себе, что разговаривает с Климом, а не с каким-нибудь прыщавым тринадцатилеткой. Проклятые климовы вопросы казались книжными, надуманными, глупыми, оторванными от реальности. Так говорят и ведут себя герои воспитательной литературы и дидактических фильмов. В жизни же подобная роль отведена только дуракам и блаженным.

Но в том-то и дело, что Клима явно не подходил под оба этих определения. Он полагал свои поиски правдивой системы правил и соответствующего ей правильного образа жизни чем-то сугубо нормальным, свойственным всем и каждому и только по глупости или по лености загнанным куда-то далеко под самую нижнюю ступеньку в иерархии человеческих приоритетов. Ну что, к примеру, ненормального было в том, что он не пожелал катиться по жлобскому желобу своих братьев-алкоголиков? Или в том, что и в институтских компаниях, которые поначалу казались захватывающе интересными, он через год-другой обнаружил такую же скуку, хотя и намного более многословную?

Обладая быстрым умом и сокрушительной работоспособностью, он в два счета ликвидировал первоначальный недостаток начитанности и вскоре оперировал всевозможными «измами» с легкостью более чем достаточной для того, чтобы ощутить поверхностность и гнетущую бесплодность заносчивой псевдоинтеллектуальной говорильни. Инженерную профессию Клима получил без особого напряжения, но надежды на то, что этот род занятий в состоянии наполнить его жизнь содержанием, рассеялись еще в институте.

Тогда он всерьез заинтересовался историей, как будто отодвинув на время в сторону разочаровывающее настоящее, – в надежде на то, что оно станет понятнее, если подойти снизу, из прошлого. Со своей будущей женой Клима сошелся скорее на почве общего восхищения ее отцом-историком, потомственным интеллигентом из породы булгаковских профессоров. Увы, и тут его ожидало разочарование. Рафинированное профессорство ослепляло только на первый взгляд. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что прекрасный дворец стоит над безобразным подвалом, полным стыдного вранья и трусливых компромиссов. Стоило ли ради этого уходить от родного алкогольного жлобства? Струковы, по крайней мере, гнобили себя откровенно... здесь же ложь достигала невиданного размаха; фасад настолько не соответствовал содержанию, что было трудно дышать.

С семьей Клима расставался трудно – не из-за жены, с которой его не связывало ничего, кроме взаимного ощущения ошибки, а из-за дочери, которую любил безумно. Сева к тому времени тоже успел обзавестись сыном, а потому полагал себя вправе где-то и указать старшему товарищу.

– Вот именно! – солидно говорил он. – Ребенок! Дети!

Разве не в детях содержится тот смысл, о котором ты талдычишь? Наделай побольше и живи ради них – чем плохо?

– Она уже врет почти как взрослая, – жаловался Клим в ответ, не обращая внимания на банальную севину мудрость. – Всего-то четыре года, а вот – научилась...

В начале восьмидесят девятого распалась и климова бригада. Сначала погиб Струков – не на стройке и даже не по пьяной глупости: стоял черным зимним вечером на черной наледи автобусной остановки вместе с черной мрачной толпой; скользя юзом, подошел грязный автобус, обвешанный, обсаженный людьми, как мухами;

человеческая масса на тротуаре качнулась, готовясь к штурму; Струков неловко поసుнулся вперед, нога поехала, таща за собой тело, он еще успел вымолвить: «Да что же вы, бляди...» – и детскими легкими саночками выскользнул на черную проезжую часть, грудной клеткой под колесо.

Потом почти сразу же травмировался Сережка – наколол ногу, причем наколол капитально, насквозь, и не просто гвоздиком, а ржавой балочной скобой дореволюционнойковки. И от этой дореволюционности такая пошла в сережкиной ноге контрреволюция, что пришлось лечь в больничку, а лежа в больничке, понятное дело, кладов не поищешь.

Паша-Шварценеггер тоже к тому времени вот уже несколько недель безуспешно составлял в уме обращенную к Климу фразу о вынужденном уходе из бригады. Смысл фразы должен был заключаться в том, что Пашу давно уже сманивают на очень хорошую денежную службу по сбору денег с черножопых спекулянтов – в качестве платы за предоставляемую защиту. Это была действительно хорошая служба – не чета нынешнему сидению в проходной, и командиром там – бывший пашин армейский сержант, человек, может, и злой, но с понятием, и шпалер там дают настоящий, и денег за неделю столько, сколько он у Клим за год не заработает. Одно жалко – поговорить там будет не с кем, потому что разговаривать по-человечески только он, Клим, и умеет, за что ему, Климу, большое пашино спасибо, и вообще он, Паша, будет иногда заходить, если он, Клим, будет не против.

Объем информации был настолько велик, что Паша при всем старании никак не мог продвинуться дальше двух начальных слов: «значит» и «это». Он бы подумал еще с месяцок, но сержант торопил, а потому Паша вынужден был приступить к разговору без должной подготовки – что называется, зажмурив глаза, как с моста в воду. Он выбрал момент после окончания смены, в каптерке, когда Клим устало сел на скамейку и, свесив вялые руки, уткнулся взглядом в противоположную стену, что, кстати сказать, случалось с ним в последние дни довольно часто. Паша поднес ко рту ладонь, чтобы звучать деликатнее, и произнес свою заготовку:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.